

Sergey FROLOV  
Mikhail Glinka and the events  
of December 1825

Сергей ФРОЛОВ  
**М. И. Глинка  
и декабрьские события  
1825 года**

**Е**сть в жизни великого русского композитора, основоположника русской классической музыки М. И. Глинки эпизод, который в недавнее время служил поводом для многочисленных и глубокомысленных рассуждений, основной смысл которых был связан с подтверждением его — Глинки — политической благонадежности в контексте советской идеологической доктрины. Речь идет о том, как объяснялась причастность М. И. Глинки к событиям так называемого «восстания декабристов», а как следствие того, насколько он был вовлечен в ту идейную ситуацию, которую обычно выстраивали в связи с этими событиями, в том смысле, что она должна была получить отражение в его творчестве.

Не станем ни перечислять все, что было сказано по этому поводу, и тем более не будем оспаривать того, что говорилось. Это ни в коей мере не входит в наши задачи. Позволим себе лишь попытаться взглянуть на все, что случилось с ним в декабре 1825 года, если и не глазами современника этих событий, то хотя бы поставив себя

The scale of the personality and creative work of the great Russian composer Mikhail Glinka inevitably puts him into the context of the most complex events and problems in the history of Russian culture of his times, i. e. the first half of the 19th century. One of the most important of these events is a Decembrist rebellion at the end of 1825. This article discusses the general conditions of this revolt and possible aspects of relating the biography of the composer to them.

**Key words:** Noble society, classical Russian literature, liberal talk shop, Decembrist rebellion, oath to Nicholas I, leaving the square.

Масштабы личности и творческой деятельности великого русского композитора М. И. Глинки неизбежно ставят его в контекст самых сложных проблем и событий в истории русской культуры первой половины XIX века. Одним из таких наиболее важных событий является дворянский бунт в декабре 1825 года. В данной статье рассматриваются общие условия этого бунта и возможные аспекты соотнесения с ними биографии композитора.

**Ключевые слова:** Дворянское общество, великая русская литература, либеральная говорильня, дворянский бунт, присяга Николаю I, уход с площади.

вне каких-либо позднейших идеологических воззрений. Поэтому, с одной стороны, постараемся включиться в жизненную ситуацию, которую переживал М. И. Глинка накануне и во время декабрьских событий 1825 года; а с другой — попытаемся восстановить исторический контекст таким, каким он мог представляться тем, кто жил в ту эпоху.

Начнем же с того, что незадолго до случившихся исторических событий М. И. Глинка был взволнован известиями о неких радостных переменах в родительском доме и начал готовиться к поездке в Новоспасское. Там давняя прелестная любовная история между старшей из его сестер Пелагеей (28.IX.1805 – 07.VII.1828) и смоленским помещиком Яковом Михайловичем Соболевским (23.X.1793 – ноябрь 1844) завершалась свадьбой. По-видимому, в конце октября — начале ноября состоялся «сговор», и, как пишет Л. И. Шестакова, родители «сообщили» М. И. Глинке, или как тогда его чаще всего называли — Мишелю (позволим и мы себе именно так

его именовать), что «к его товарищу и другу — старшей сестре, Пелагее Ивановне, сватается жених, который ей нравится, но они не хотят решить дело без него». Надо полагать, что речь шла о необходимом присутствии Мишеля не только на свадьбе, которая планировалась на начало 1826 года, но и на официальном обручении. Обрадованный Мишель, — продолжает Л.И. Шестакова, — «немедленно взял отпуск и в декабре приехал» [42, с. 35].

Так оно и произошло. Еще в ноябре, обратившись к начальству за разрешением на поездку в Новоспасское на свадьбу сестры, Мишель получил право на отпуск с 1 декабря 1825 года по 1 марта 1826 года [2, с. 86] и, по всей видимости, в начале декабря должен был отправиться на родину.

Другой заботой Мишеля была перемена квартиры.

До этого времени, начиная с лета 1824 года, он жил в тихом, едва ли не окраинном по тем временам, районе Петербурга, вошедшем в историю под названием Коломна, в доме Фалалеева (Канонерская улица, д. 2). Здесь, сравнительно недалеко от Благодного пансиона<sup>1</sup>, в стенах которого в феврале 1818 года он начал свою петербургскую эпопею, и Театральной площади, на которой высилась громада Большого (Каменного) театра, давно уже ставшего местом его постоянного внимания, он чувствовал себя душевно привычно.

Однако, расширяя в 1825 году круг знакомств, регулярно посещая великосветские салоны в домах, расположенных в центре города, он должен был почувствовать неудобство отдаленного местоположения этой квартиры. И если до места своей службы в Главном управлении путей сообщения, располагавшегося на углу Фонтанки и Обуховского (ныне Московского) проспекта, можно было легко прийти пешком, то чтобы добираться с Канонерской улицы, то есть едва ли не от питерского взморья, до мест своего приятного вечернего времяпрепровождения и обратно, он вынужден был постоянно брать извозчика. А это было дороговато и к тому же отнимало массу драгоценного времени на дорогу.

Поэтому, как только представился к тому случай, Мишель, не раздумывая, переселился ближе к центру Петербурга: «В конце лета [1825 года. — С. Ф.], — сообщает он в своих мемуарах, — я переехал в Загородный проспект, в дом Нечаевой<sup>2</sup>, на квартиру Александра Яковлевича Римского-Корсака (10.VI.1806 – 1874), пансионского товарища и земляка» [6, с. 229].

Здесь-то его, находившегося в радостном ожидании скорого свидания с родными в Новоспасском, и застигли события, неожиданно разразившиеся к концу 1825 года. Тогда 27 ноября Петербург был поражен страшной вестью о кончине государя императора Александра I,

случившейся в Таганроге восьмью днями ранее. Город сначала застыл в скорбном оцепенении, а затем стал аренной совершенно неожиданных событий, которые завершились 14 декабря кровавой развязкой на Сенатской площади.

Впрочем, сказать, что все произошедшее в этот день на Сенатской площади случилось совсем уж неожиданно и нежданно, будет не совсем верно, так как все это было следствием общего хода исторического развития России.

Дело в том, что к началу XIX века стало складываться русское гражданское общество, которое, согласно его главной прямой обязанности, вступило в диалог с правительством. Поскольку в данный момент правительство (а это было правительство императора Павла I) находилось в разладе с обществом, то первым же заметным актом в диалоге стала своего рода декларация общества о своем существовании. И выглядело это как вызов правящему режиму, заявленный в форме несанкционированной гражданской акции.

Именно так можно расценить стихийно возникшую массовую церемонию похорон скончавшегося 6 мая 1800 года опального генералиссимуса А. В. Суворова. Вопреки воле самодура-императора, хотевшего, вероятно, сделать похороны последним наказанием своего непокорного великого военачальника и поставшего снизить их значение до уровня малозаметного события, граждане столицы Российской империи поступили по-своему. Помимо намеченной по приказу Павла весьма скромной церемонии похорон они самостоятельно отдали А. В. Суворову последнюю дань уважения грандиозным публичным общенародным оплакиванием. «В камер-фурьерском журнале 9 мая 1800 г. не отмечалось какой-либо почести, отданной царем умершему полководцу. Меж тем похороны генералиссимуса всколыхнули национальные чувства», — пишет Н. Я. Эйфельман [45, с. 190] и приводит далее свидетельства Н. И. Греча, который вспоминает, как четырнадцатилетним мальчиком поехал с отцом проститься с А. В. Суворовым: «...мы не могли добраться до его дома<sup>3</sup>. Все улицы были загромождены экипажами и народом. Не правительство, а Россия оплакивала Суворова [...]. За гробом шли три жалкие гарнизонные батальона. Гвардию не нарядили под предлогом усталости солдат после парада. Зато народ всех сословий наполнял все улицы, по которым везли его тело, и воздавал честь великому гению России» [10, с. 172, 174]. «Это были, — продолжает Эйфельман, — первые в русской истории похороны, имевшие подобный смысл: отсюда начинается серия подобных прощаний русского общества с лучшими своими людьми (Пушкин, Добролюбов, Тургенев, Толстой [...]) — похороны, превращающиеся

<sup>1</sup> В 1817–1820 годах. Пансион располагался на набережной реки Фонтанки, в доме надворного советника Отта вблизи Старо-Калинкина моста (наб. Фонтанки, д. 164). В 1821 году Пансион переехал в специально выстроенное для него здание на углу улиц Кабинетской (Большой Офицерской) и Ивановской (ныне улич Социалистической и Правды).

<sup>2</sup> Загородный проспект, д. 42.

<sup>3</sup> Этот дом на Крюковом канале, напротив Никольского рынка (современный адрес: наб. Крюкова канала, д. 23) теперь отмечен соответствующей мемориальной доской [примеч. моё. — С. Ф.].

в оппозиционные демонстрации, выражения чувств личного, национального политического достоинства. Павел, казалось бы, столь щепетильный к вопросам чести, национальной славы, совершенно не замечает того, что выражают петербургские похороны Суворова: той степени национальной просвещенной зрелости, которой достигло русское общество» [45, с. 191].

После убийства вызывавшего всеобщее недовольство Павла, начавшийся так неудачно с затаенного противостояния диалог не изменил своего характера. Правительство Александра I стало готовить для общества реформы и вызвало для этого на политическую сцену М. М. Сперанского. Общество же, в свою очередь, отвечало правительству обструкциями и актами неповиновения, направленными как в адрес намечаемых реформ, так и, в особенности, в адрес безродного попавика Сперанского. Особенно болезненно переживались в идущем столь неловко диалоге реформы чиновничьего чиновпроизводства и попытки упразднения крепостного права [См. об этом: 35].

Даже война 1812 года не смогла по-настоящему ослабить накопившегося в этом диалоге напряжения, которое лишь временами и отнюдь не мирно получало отдельные разряды, два из которых, например, описывает в своих *Воспоминаниях* однокашник Глинки по Благородному пансиону Н. А. Маркевич. Судя по всему, оба отмеченных им эпизода приключились в середине 1810-х годов. Первый из них произошел в Сенате. Он, как полагал Н. А. Маркевич, был связан с желанием Александра «освободить крестьян от власти помещиц», которое было воспринято, как «желанье сравнять перед собою дворян с крестьянами, быть деспотом вполне». И когда, по словам Н. А. Маркевича: «В Сенате вздумал он объявить крестьян по всей России свободными, ни слова не говоря о своей неограниченной власти; его просили ограничить и свою власть. Он разгневался и выскочил из Сената каким-то неслыханным щастьем; его хотели удавить»<sup>4</sup>.

Второй эпизод случился в Москве, где император «объявил желанье быть в Благородном собрании». Любопытно, что, как пишет Н. А. Маркевич, «старшины и все тузы Москвы приняли его, но не пустили в залу Аракчеева», — и продолжает: «Царь входит и видит зал, обитую<sup>5</sup> черным бархатом с серебряными крестами и бахромой. Можно вообразить ужас его. Ему сказали, что это „траур Москвы по России“. Потом усовестили: „или оставить мысль обо освобождении крестьян от власти помещиц, или освободить все сословия от самодержавной власти, дав всем конституцию“»<sup>6</sup>.

Однако, трагедия данной ситуации как раз и заключалась в том, что правительство не могло ни отка-

заться от самодержавия, ни дать конституции, так же, как дворянское общество в подавляющем большинстве, в свою очередь, не было готово отказаться от крепостного права и от зависимости от самодержавной государственности, а главное, не имело легитимного правового инструмента для плодотворного политического диалога с правительством – парламента. Поэтому к концу царствования Александра I все кончилось тем, что этот диалог переродился в два параллельно идущих монолога, в которых «высказывающиеся» не слышали друг друга. При этом правительство в ходе своего «монолога» пошло по пути лишения общества любых форм независимой легальной политической деятельности и усиления полицейской власти над ним, а общество в своем «монологе» ответило на этот исторический вызов другими средствами.

Во-первых, оно породило великую русскую классическую литературу, которая, с одной стороны, стала свидетельством высочайшего уровня общеевропейской культуры, достигнутого тогда русским дворянством. А с другой — впервые обратилась к самой русской культуре, к российской действительности. Но обратилась не столько с тем, чтобы отразить ее свойства или внешние признаки, сколько с тем, чтобы стать одним из важнейших факторов этой действительности. При этом следует учесть, что в русской культуре литература, а шире и, вероятно, точнее сказать, словесность — письменная, а затем и печатная<sup>7</sup>, на протяжении многих столетий играла особую роль, став едва ли не второй действительностью, порой чуть ли не опережающей своей содержательностью обыденную реальность. Начало этому было положено в древности в момент принятия христианства. Тогда на Руси в отличие от Запада, разделение на божественную (сакральную) и обыденную (профанную) словесность произошло не в плане различия языков, ибо христианское слово здесь оказалось переведено на общедоступный литературный древнеславянский язык, мало отличающийся от разговорного, а в противопоставлении письменного и устного текстов: атрибутом божественного смысла стала письменная словесность, обыденное же слово оказалось фактически лишенным территории письменности<sup>8</sup> и осталось лишь в устном бытовании.

В результате едва ли не любое письменное слово стало обладать если и не прямой сакральной значимостью, то, по крайней мере, повышенной авторитетностью.

Далее, во время прохождения Русью испытаний монгольским нашествием и условиями «культурного одиночества» XVI века [См. об этом: 26, с. 11–12], письменная, а вслед за ней и зарождающаяся печатная словесность, сохраняя свои общеевропейские корни и по-

<sup>4</sup> Маркевич Н. А. Воспоминания. РО ИРЛИ. Фонд 488, № 82. Л. 49 об.

<sup>5</sup> В документе, по-видимому, описка Н. А. Маркевича, и здесь следует читать либо как «зал, обитый» или как «залу, обитую» [примеч. моё. — С. Ф.].

<sup>6</sup> Маркевич Н. А. Воспоминания. Л. 50.

<sup>7</sup> Термин «литература» вступил в свои права в современном понимании лишь в конце XVIII века.

<sup>8</sup> Точнее будет сказать, что устное слово было лишено авторитетных носителей письменного слова — пергамента и бумаги, получив в свой удел лишь бересту и граффити, то есть маргинальные и весьма неблагонадежные территории.

стоянно подпитываясь влияниями, идущими с Запада Европы и с Юга Балкан, продолжала выступать в русской национальной культуре в роли ее некоего alter ego, продолжала находиться в состоянии второй реальности. Так, в сознание русского человека были заложены истоки особого двоимирия, когда сложилось некое разделение на жизнь в реальной обыденности и в книжной умышленности.

Однако, наиболее явные черты такое разделение приобретает в эпоху раннего становления русской классической литературы, то есть в интересующую нас эпоху, которая определенно может быть расценена как время рождения в России культуры «литературоцентризма»<sup>9</sup>.

В России эта эпоха наступает несколько позже, чем в Западной Европе, и совпадает со временем начала упадка дворянской культуры, когда в умах «творческого меньшинства»<sup>10</sup> возникло ощущение тупиковой ситуации и необходимости реформ. В этом случае русская литература как раз и приняла на себя всю полноту выражения основных реальных и чаемых суждений и чувствований русских людей: она стала своего рода компенсатором отсутствующих в стране политических институтов, общественных организаций, гласности, публичности и тому подобного.

В эту же эпоху в России активно шел процесс перехода от эпохи «авторитетов и авторитарных форм» к эпохе «авторского сознания»<sup>11</sup>, который еще более способствовал продвижению литературы на доминантное место в русской культуре. Как пишет современная исследовательница, русская литература в начавшемся процессе естественно выдвигалась «на место, какого словесность никогда прежде не занимала (даже слово Священного Писания не доминировало над обрядом, например). Эпоху классической русской литературы можно назвать вековым господством слова в культуре, сформировавшим систему ценностей, которая продолжала действовать и за порогом XIX столетия» [5, с. 35]. Именно тогда происходит кристаллизация генетических свойств русской классической литературы, благодаря которым она только и могла заменять «и церковь, и адвокатскую контору, и благотворительную организацию, и кабинет психиатра»<sup>12</sup> для русского читателя. С этого момента русская литература — больше чем просто литература, и именно отсюда рождается представление о том, что «поэт в России больше, чем поэт».

Важнейшим условием становления русской литературы стало то, что основные его процессы изначально были связаны с Петербургом и с участием в них гения

А. С. Пушкина. Благодаря последнему обстоятельству, можно даже говорить здесь о первом этапе, как о пушкинской эпохе. Исходную точку этого становления следует датировать временем первой половины 20-х годов XIX века, когда А. С. Пушкин вступает в своем творчестве в активное взаимодействие не только с русским, но и с общеевропейским литературным развитием, ставя перед собой и постепенно разрешая эпохальные задачи в истории культуры. Начиная с 1823 года, в процессе работы над «Евгением Онегиным»<sup>13</sup>, а затем в исторической трагедии «Борис Годунов» он напрямую выходит на свой путь творческого диалога с современной ему российской действительностью. Именно с этого времени А. С. Пушкин становится властителем дум и душ русского читателя. «Злободневность» темы высказывания, то есть способность к воздействию на читателя, становится для него одним из важнейших критериев творчества<sup>14</sup>. Завершается эта эпоха смертью поэта в 1837 году. Но тем самым не завершается состояние двоимирия в русской культуре, так как в умышленный мир русской литературы вслед за А. С. Пушкиным в будущее идут все новые и новые писатели.

Во-вторых, русское общество в своем «монологе», уже не обращая внимания на правительство, ответило на брошенный им исторический вызов рождением особого «комнатного» русского либерализма — бесконечной и в принципе бесплодной говорильни, которая стала тогда нормой поведения в гостиных, в «клобах», в кабинетах мужчин и дамских салонах. Блестящий пример такой говорильни в словах Репетилова дает А. С. Грибоедов:

«Вслух, громко говорим, никто не разберет.  
Я сам, как схватятся о камерах, присяжных,  
О Бейроне, ну о матерях важных...»

Но в этой говорильне все же главной была политическая тема, в центре которой стояли рассуждения о чем-то в «государственном деле», но при этом — не сразу и не «вдруг»:

«...у нас... решительные люди,  
Горячих дюжина голов!  
Кричим — подумаешь, что сотни голосов!..

Ч а ц к и й  
Да из чего беснуетесь вы столько?

Р е п е т и л о в  
Шумим, братец, шумим.

<sup>9</sup> Термины так называемого N-центризма при всей их условности представляются достаточно убедительными, так как отражают определенную логику эволюции европейской культуры, в которой на смену эпохам «обрядоцентризма» (с глубочайшей древности и примерно до рубежа XVI–XVII столетий) и «театроцентризма» (примерно до рубежа XVIII–XIX столетий) как раз и приходят, сначала «литературоцентризм» XIX века, а затем и «музыкацентризм», который, в какой-то степени и, главным образом, в массовой культуре, кажется, не утратил некоторых своих позиций и по сей день. Подробнее см. об этом: [39].

<sup>10</sup> Термин А. Дж. Тойнби: [34].

<sup>11</sup> Термин М. М. Бахтина.

<sup>12</sup> Цит. по: [36, с. 46].

<sup>13</sup> «Евгений Онегин» был задуман вначале в качестве «сатирической поэмы», но далее «развернулся» в «роман в стихах». См. об этом: [38, с. 16].

<sup>14</sup> [38, с. 102].

Ч а ц к и й

Шумите вы? и только?

Р е п е т и л о в

Не место объяснять теперь и недосуг;  
Но государственное дело:  
Оно, вот видишь, не созрело,  
Нельзя же вдруг».

Как известно, попытка вывести содержание этой говорильни в публичную печать для П. Я. Чадаева закончилась тем, что он был объявлен сумасшедшим и вынужден вернуться к бесплодным словопрениям в московском английском клубе и у себя дома на Новой Басманной.

Впрочем, частично, одна из тем либерального словоговорения — утопические фантазии, сложившись в устной форме, вскорости перешла в область рукописной литературы и вела свое тихое хождение в русском обществе того времени<sup>15</sup>.

Знаменательно, что, если кульминация в становлении русской литературы в основном связана с петербургским миром, то наивысшей степени развитие русской либеральной говорильни достигается в Москве. Именно здесь действуют грибоедовские герои и происходит трагедия П. Я. Чадаева. Высшим достижением московского завоевания русской культуры стали затяжные словопрения так называемых «западников» и «славянофилов». Стоит отметить, что к концу николаевской эпохи оба феномена русской культуры — великая литература и либеральная говорильня — делают универсальными, распространяясь на всю Россию. Достоевский на рубеже 1860–1870-х годов в романе «Бесы», называет последнюю не иначе, как «одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня» [15, с. 43].

Как всегда очень точно, колоритно и не без иронии повествует о захватившем русское общество конца правления Александра I состоянии бесплодно затянувшейся либеральной говорильни Лев Толстой, хорошо чувствовавший и передававший дух истории.

В Эпilogue своей грандиозной эпопеи «Война и Мирь», завершая повествование о судьбе своих героев, он описывает их общую встречу в декабре 1820-го года в имении Николая и Марьи Ростовых в Лысых Горах и в одной из центральных сцен дает образец подобного словоговорения. Рассказывая о том, как вернувшийся из Петербурга после общения там с заговорщиками Пьер азартно взывает к гражданским чувствам собравшихся в родовом гнезде Болконских друзьям и родственникам, а те, каждый по-своему, реагируют на это, Л. Н. Толстой не столько представляет предмет разговора — он весьма расплывчат, — сколько передает впечатление, которой производит этот предмет на самого Пьера. А еще более он стремится показать, как важен сам процесс словоговорения для всех присутствующих. Отчасти показатель-

на в этом плане реакция на происходящее жены Пьера: «Наташа, вошедшая в середине разговора в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто, и что она это давно знала (ей казалось это потому, что она знала то, из чего это выходило, — всю душу Пьера). Но она радовалась, глядя на его оживленную восторженную фигуру». Будучи искренне любящей женой, Наташа была рада тому, что Пьер наконец-то хотя бы в этих словесных занятиях нашел для себя удовлетворение.

Вряд ли можно было встретить в России в предшествовавшее декабрьскому бунту пятилетие кого-то из достаточно образованных, мыслящих людей, кто бы не был вовлечен в подобные либеральные словопрения. Как вспоминал современник М. И. Глинка, известный публицист и общественный деятель славянофильского толка А. И. Кошелев, «и старики, и люди зрелого возраста, и в особенности молодежь — словом чуть-чуть не все беспрестанно и без умолка осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие пламенно ее желали и на нее полагали все надежды. Неудовольствие было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношею, у внучатого моего брата Мих. Мих. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости — *d'en finir avec ce gouvernement*» [21, с. 13]. Бесконечными спорами на самые разнообразные внутривосточные и внешнеполитические темы был увлечен А. С. Пушкин. В 1822 году, обедая в Кишиневе у наместника, он, например, «утверждал с горячностью, что он никогда крепостных за собою людей иметь не будет, потому что не ручается составить их благополучие, и всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным, исключая отца своего, который хотя честен, но не имеет на этот счет одинаких с ним правил». При этом, как пишет свидетель происходящего, «Пушкин ругает правительство, помещиков, говорит остро, убедительно» [14, с. 353]. Иногда в таких разговорах А. С. Пушкин терял меру и, возбуждаясь, «разгорался, бесился и выходил из терпения». Из его уст летели «ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большею частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападавал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли» [Там же, с. 354].

Однако, отнюдь не все из принимавших участие в подобных словопрениях были склонны требовать решительных мер, а тем более составлять политический заговор. В той же сцене в Лысых Горах Л. Н. Толстой противопоставляет радикализму Пьера умеренные взгляды

<sup>15</sup> Речь идет о детско-юношеских мечтаниях молодежи декабристского круга и об утопических сочинениях А. Д. Улыбышева, В. К. Кюхельбекера М. А. Дмитриева-Мамонова, П. И. Борисова, Н. М. Муравьева, П. И. Пестеля и Ф. В. Булгарина. См. об этом, например: [16, с. 121–139].

Николая Ростова, который не может допустить действий тайного общества, ибо оно, по его словам, если «тайное» — «следовательно, враждебное и вредное, которое может породить только зло».

Даже тогда, когда политический заговор в Петербурге все-таки уже был составлен, и его участники агитировали столичную молодежь присоединиться к ним, находились трезвые оппоненты. Так, например, в воспоминаниях П. И. Бартенева можно найти описание весьма показательной ситуации: «В половине 1825 года, в Петербурге, на Васильевском острове, жило двое братьев Мухановых; старший Александр Алексеевич, второй Николай [...]. Оба они были люди военные. К ним нередко собиралась молодежь, и, по обыкновению того времени, все они вольнодумничали. Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. Тема была одна — необходимость конституции и переворота посредством войска [...]. Посреди этих людей нередко являлся молодой офицер, необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самая незаконная есть революция военная. Однажды, поздним осенним вечером, по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков: „Вы хотите военной революции. Но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распорядиться народом по произволу и сделаются выше его?“ Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой [...]. Человек этот А. С. Хомяков» [22, с. 33].

Нам представляется особенно важным последний пример, так как Алексей Степанович Хомяков (1.V.1804–23.IX.1860), — ровесник М. И. Глинки, был в какой-то степени человеком его круга. Судьба иногда сводила их в последующие за декабрьскими событиями 1825 года времена. Среди людей, подобных А. С. Хомякову, то, что произошло на Сенатской площади 14 декабря, рассматривалось как нечто горестное и неожиданное. «Горсть безумцев предприняла нарушить общее спокойствие, — пишет брат А. С. Хомякова Федор из Петербурга в Москву матери 22 декабря 1825 года, — твердость государя и приверженность к нему войска и народа спасла Петербург и, может быть, Россию. Все зачинщики мятежа уже взяты под стражу. Между ними находим много таких, которых никто до сего случая не подозревал в таком преступном намерении. Я от души радуюсь, что никто из моих коротких знакомых или друзей Алексея не был в этом числе» [Там же, с. 63].

Впрочем, как следует из письма А. С. Пушкина к В. А. Жуковскому в Петербург из ссылки в Михайловском от 20-го января 1826 года, о заговоре знали все — «кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем?»

о заговоре кричали по всем переулкам, и это, — делает специальное замечание А. С. Пушкин, — одна из причин моей безвинности» [29, с. 154].

Не присваивая себе права судить, хорошо или плохо это сказалось в русской культуре, позволим себе все же заметить, что, и раздвоенность русского сознания на бытовое и книжное — умышленное бытие, порожденное литературным фактором, и бесконечная либеральная говорильня — все это делается важнейшими общими свойствами русской культуры, в тех или иных формах присущими ей вплоть до наших дней.

Но вернемся в 1825 год и обратимся к третьему ответу русского общества на историческую ситуацию в его политическом «монолог» первой четверти XIX века, к дворянскому бунту, случившемуся в Петербурге 14 декабря.

Начнем с того, что в известном смысле, подобные события вовсе не были новостью для русской истории. Более того, на протяжении почти полутора предшествовавших веков в России дворянский бунт, завершавшийся дворцовым переворотом, был даже скорее нормой в момент восхождения на царский престол едва ли не всех царственных персон. В результате каждого такого бунта-переворота сложившееся к середине XVII столетия служилое сословие ставило на престол ту или иную фигуру, от которой ожидало или требовало исполнения своих пожеланий по улучшения своего социально-экономического положения. Таким образом, дворянство реализовало свои сословные интересы<sup>16</sup>.

Посредством серии мелких бунтарских действий, последовавших в 1682 году за смертью царя Феодора Алексеевича, постоянно перебирая на русском престоле детей царя Алексея Михайловича, дворяне добились отмены так называемого «местничества», то есть получили юридическое равенство со столбовым дворянством и родовитым боярством. Затем, утвердив к концу XVII века на престоле царя Петра, оно получило от него за это обязательство пожизненного содержания дворян мужского полу на государственной службе, и, как следствие, своего постоянного обеспечения поместьями и денежным жалованием. К концу царствования Петра русское дворянство, вдобавок к этому, приобрело еще и особый инструмент для своего продвижения по служебной лестнице в виде «Табели о рангах».

После смерти Петра в 1725 году в течение пяти лет дворцовых склок элита дворянского общества, сосредоточенная в гвардейских полках, силою своих штыков решала судьбу правления страной и, в конце концов, утвердила на престоле племянницу Петра, передав ей права абсолютной монархини. За эту услугу, став императрицей, Анна Иоанновна расплачивается с дворянством приравниванием поместий к вотчинам и законом о майорате, то есть, главными условиями образования русских дворянских гнезд.

<sup>16</sup> Подробнее об истории русского дворянства XVIII – начала XIX века см., например: [1, 9, 11, 19, 20, 24, 25].

После смерти Анны Иоанновны в 1740-м году русский престол наследовал ее двухмесячный внучатый племянник Иоанн Антонович (в будущем возможный царь Иван VI), при котором регентствовал Бирон. Однако, регентствовал недолго, так как взбунтовавшееся дворянство, сначала сместив его и передав бразды правления родителям царственного ребенка Анне Леопольдовне (внучке Петра I) и герцогу Брауншвейгскому Антону-Ульриху, затем свергло и их. Недовольное правлением обеих Анн, при которых, как принято считать, Россия испытала немецкое засилье, вновь бунтующее дворянство очередным дворцовым переворотом ставит на престол дочь Петра I Елизавету. В благодарность за это новая императрица ограничивает срок дворянской службы до 25 лет, да еще дает право записывать детей на службу едва ли не с младенчества, и обещает править страной «как батюшка» и «по-русски».

Елизавета умирает в конце 1761 года, передавая престол в наследство своему племяннику (сыну своей сестры Анны) — герцогу Голштинскому Карлу-Петеру Ульриху, вошедшему в русскую историю под именем Петра Фёдоровича, а затем и Петра III. Как бы в подтверждение его прав на русский престол в официальный титул ему были включены слова «Внук Петра Великого». Однако правление «внука» продолжалось всего 186 дней. И не будучи даже коронован, он был смещен с престола, а позже и убит представителями все того же русского дворянства. Этот очередной дворянский бунт был предопределен настолько мощным недовольством политикой и личным поведением Петра III, что, даже получив от него в виде компенсации права более не служить, дворяне все же избавили русский трон от его персоны.

Далее на престол была возведена едва ли не главная фигура в истории русского государственно-политического устройства дворянской России — императрица Екатерина II Великая — в девичестве София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. Не имея фактически никаких — ни кровно родовых, так как происходила из захудалого немецкого княжеского рода, ни законно-правовых прав на престол, поскольку была по существу государственной преступницей, соучаствовавшей в убийстве своего супруга и законного русского царя, она вынуждена была достигать признания подобия легитимности своего правления ценою бесчисленных уступок русскому дворянству. Таким способом она расплачивалась за совершенное в ее пользу дворянством бунтарское злодеяние, а оно, в свою очередь приобретало себе все, чего только можно было пожелать. Главными средствами расплаты с признающим ее право на престол дворянством была передача-раздача ему беспрецедентных юридических и материальных прав, которая продолжалась на протяжении всего времени царствования Екатерины.

Не касаясь всех подробностей такой расплаты, укажем только основные. Дворянству подтверждалось освобождение от обязательной службы, передавалось исключительное право на владение крепостными, да

еще с особыми полномочиями замещать их во всех юридических отношениях с государством. К тому же во время правления Екатерины служилое сословие было обогащено огромным числом новых крепостных, которые были предоставлены ему, во-первых, благодаря захвату больших западных территорий с многочисленным белорусско-украинским крестьянским населением, а во-вторых, вследствие перевода нескольких миллионов русских крестьян в помещичье владение, и в частности, в результате закрепощения однодворцев. При этом правительство брало на себя обязательства выплачивать огромные средства разорявшимся дворянам, фактически безвозмездно выкупая их отданные в заклад имения. Таким образом, выторговывая свое право на русский императорский престол, Екатерина превратила дворянство в паразитирующее сословие, юридически освободив его от каких-либо обязательств перед государством, народом и царствующим сюзереном, то есть дискредитировало его изначальную функцию быть сословием, задача которого как раз и состояла в том, чтобы служить царю и отечеству. К тому же, давая все возможные поправки дворянам, Екатерина переусердствовала в том, что сделала это за счет помещичьего крестьянства, которое было лишено своих юридических прав и фактически обращено в рабство, отмененное лишь спустя 99 лет. В конце царствования Екатерины были исчерпаны все возможные желания и требования русского дворянства в плане улучшения своего социально-экономического благосостояния. Дальше, казалось бы, идти было некуда!

И все же, даже получив все возможные преференции, русское дворянство нашло повод для недовольства правлением Екатерины — она слишком долго засиделась на престоле. Взойдя на него в 1762 году и дожив до своей смерти в 1796 году шестидесятилетней старухой, она стала своего рода препятствием для карьеры своего стареющего сына, рожденного еще в 1754 году, а вместе с ним препятствием и для поколения рвущихся на смену состарившемуся окружению Екатерины его ровесников и даже их детей. Но на этот раз дворяне, при всем своем недовольстве, не успели учинить бунта и не свергли Екатерину посредством открытого дворцового переворота. Их недовольство и скрытое бунтарское действие выразилось в том, что накопившееся желание ее смерти было реализовано косвенным образом. И сделано это таким же способом, каким через 156 с половиной лет окружение разделалось с засидевшимся во главе советского государства ненавистным тираном Сталиным. Как и ему, Екатерине в момент начала инсульта не было оказано должной и многожды применявшейся прежде медицинской помощи. И она благополучно скончалась, как тогда говорили, «от апоплексического удара».

На этом, казалось бы, история дворянских бунтов должна была бы окончиться, так как первенствующему сословию уже нечего было желать ни в плане своего материального благосостояния, ни в своих политических амбициях.

Однако, последовавшее за смертью Екатерины воцарение ее сына Павла I вместо какого-то радостного

удовлетворения обернулось для русского дворянства неожиданными осложнениями. Не вдаваясь здесь в подробности, скажем только, что новый император настолько сильно сузил права русских дворян, полученные ими при его матери, настолько досадил им своим самодурством, что они, вспомнив о своих традициях, снова взбунтовались и в последний раз успешно реализовали желание улучшить свое положение. В ночь на 12 марта 1801 года Павел I был зверски забит и задушен офицерами в собственной спальне своей резиденции в Михайловском замке.

Возведенный в результате этого дворянского бунта император Александр I вернул дворянам все их предыдущие завоевания, и хотя в начале царствования и был исполнен желаний провести реформы, в той или иной мере касающиеся положения русских дворян, но, памятуя о судьбе своего отца, так и не посмел этого сделать.

И все же во время его столь, казалось бы, благополучного для дворянства правления в глубинном сознании наиболее образованных, совестливых и обуреваемых интеллектуальным беспокойством представителей этого сословия зрели ростки нового неудовольствия. Их теперь тревожила самая ситуация своего господства в условиях крепостного права и абсолютного самодержавия, столь парадоксальная в контексте демократизации общего политического климата в Европе. Не менее беспокоил и вопрос легитимности современного им царского правления, достигнутого неправым, если не сказать, преступным путем. К тому же, их обострившаяся в эту эпоху историческая память (это особая тема в контексте творческой биографии М. И. Глинки<sup>17</sup>) невольно напоминала им о преступности условий восхождения на престол, как всех правивших прежде персон, так и современного им царя.

Дух этой тревоги и этого беспокойства можно обнаружить, например, даже в цитированных выше *Воспоминаниях* Н. А. Маркевича. Рассказывая о том, как воспитанников Благородного пансиона водили в Зимний дворец, в Эрмитаж, в Кунсткамеру, в Академию художеств, как они бывали в Александро-Невской лавре, он описывает эпизод, случившийся в Михайловском замке: «Не помню, кто из воспитанников спросил у дворцового чиновника: „Где был Павел убит?“ — Надобно было видеть, как растянулась чиновничья физиономия»<sup>18</sup>. А общую тревогу по поводу проблемы легитимности власти, достигнутой путем убийства законного правителя или его наследника, ярко иллюстрирует А. С. Пушкин своей знаменитой трагедией, писанной как раз в момент подготовки бунта 1825 года<sup>19</sup> и названной: «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве...»<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> См. об этом: [40].

<sup>18</sup> *Маркевич Н. А.* Воспоминания. Л. 50.

<sup>19</sup> Работа на пьесой была начата в декабре 1824 года и завершена 7 ноября 1825. См., например: [38, с. 141–142].

<sup>20</sup> В письме к П. А. Вяземскому от 13 июля 1825 года: [30, с. 120].

<sup>21</sup> См. об этих песнях: [32, с. 508–517, а также 8].

<sup>22</sup> В первом издании сборника, вышедшем в Санкт-Петербурге из печати в 1790 году, имя его составителя Н. А. Львова не упоминалось, и на его титульном листе было напечатано: «Собрание народных русских песен с их голосами. На музыку положил Иван Прач. Печатается в типографии Горного училища. 1790» — см.: [33].

Но для конкретизации этих тревожных состояний русского дворянства в виде какого-то публичного выступления и, тем более, для исторически привычного для себя бунта, долгое время не находилось повода, и вся его заговорщицкая деятельность ограничивалась все тем же общим словоговорением, прожектами будущего конституционного переустройства, да хоровым исполнением крамольных «агитационных» песен во время так называемых «русских завтраков» в кабинете у К. Ф. Рылеева. Закусывая пластовой квашеной капустой и черным хлебом «очищенное белое вино», то есть водку, они распевали на мотив популярных бытовых песен сочиненные К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым куплеты<sup>21</sup>.

Современники хорошо запомнили, как в одной из них под плясовой мотивчик высмеивалось «пристрастие Александра I к иностранцам и преувеличенная любовь его в военной муштре, смотрам и парадам» [7, с. 160]:

Царь наш — немец русский —  
Носит мундир узкий.

Ай да царь, ай да царь,  
Православный государь!

Царствует он где же?  
Всякий день в манеже.

Ай да царь, ай да царь,  
Православный государь!

Прижимает локти,  
Прибирает в когти.

Припев.

Царством управляет,  
Носки выправляет.

Припев.

Враг хоть просвещенья,  
Любит он ученья.

Припев.

Школы все — казармы,  
Судьи все — жандармы.

Припев.

А граф Аракчеев  
Злодей из злодеев.

Припев.

(И так далее...)

Большая же часть этих песен распевалась на мотив подблюдной песни с припевом «Слава!», хорошо известной по изданию еще в конце XVIII века в знаменитом фольклорном сборнике А. Ф. Львова – И. В. Прача<sup>22</sup>. Таковой была, например, песня про «гвардейские полки»:



Вдоль Фонтанки-реки квартируют полки,  
Квартируют полки все гвардейские.

Их и учат, их и мучат ни свет, ни заря,  
Что ни свет, ни заря, для потехи царя!

Разве нет у них рук, чтоб избавиться мук?  
Разве нету штыков на князьков-сопляков?

Разве нету свинца на тирана-подлеца?  
Да Семеновский полк покажет им толк.

Кому вынется, тому сбудется;  
А кому сбудется, не минется. Слава!

Не менее популярными были песни на этот мотив про кузнеца, несущего три ножа на «на злодеев-вельмож», на попов — на святош», «А молитву сотворя, третий нож на царя», или про мужика, у которого, «обрита голова»:

Он не плут, не вор, за спиной топор;  
А к кому он придет, тому голову сорвет.  
Кому вынется, тому сбудется;  
А кому сбудется, не минется. Слава!

Лишь события неожиданно возникших сложностей в момент вступления на престол императора Николая I, наследовавшего скоропостижно скончавшемуся 19 ноября 1825 года императору Александру I, пробудили к конкретной деятельности доселе безвольно прекраснодушествовавших заговорщиков. Однако, вот в чем парадокс. Выведя 14 декабря из казарм около трех тысяч нижних чинов различных войсковых подразделений, они не имели понятной как для себя, так и, в особенности, для подчиненных им войск общей конечной цели. А главное — не имели способности ответственно руководить происходящими событиями<sup>23</sup>.

К этому можно еще добавить, что сами заговорщики, коих в результате следственных дел насчитывалось чуть более 120 человек, были весьма молодыми людьми, мало значащими в русском обществе. Недаром молва приписала А. С. Грибоедову ироническое замечание о происшедшем на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года, как о бунте «ста прапорщиков»<sup>24</sup>. В своих умозрительных устремлениях, они были, пользуясь известным выражением, «страшно далеки от народа». С другой же стороны, в своих поступках они совсем не были поняты и породившим их дворянским обществом.

По существу этот исторически запоздалый дворянский бунт был нелепо случайным, бессмысленным, тщетным и обреченным на поражение актом, так как взбунтовавшаяся кучка дворян фактически выступила против тех условий, которых само же русское дворянство как раз и добивалось в ходе всех предшествовавших своих бунтарских действий. Об этом несколько равнодушно

писал выдающийся русский историк С. В. Платонов: «Попытка переворота исходила из той же дворянской среды, которая в XVIII веке не раз делала подобные попытки, а орудием переворота избрана была та же гвардия, которая в XVIII столетии не раз служила подобным орудием. В XVIII веке перевороты иногда удавались, и создаваемая ими власть получала тот или иной характер, то или иное направление в зависимости от условий минуты. Теперь, в 1825 году, попытка переворота не удалась» [27, с. 671].

Естественно, что в целом русское дворянское общество, ничем и никак не поддержав теперешних бунтовщиков в момент их декабрьских действий, в дальнейшем пребывало в недоуменном смущении. Другого же, то есть, недворянского общества в то время в России не было, и поддержать вынашиваемые смутьянами здравые идеи конституционного устройства и отмены крепостного права, которые, даже не будучи согласованными у разных заговорщиков, все же отвечали прогрессивным веяниям эпохи, было просто некому.

События, последовавшие за выходом на Сенатскую площадь тех, кого впоследствии называли «декабристами», хорошо известны и не требуют здесь своего комментария. Да и то обстоятельство, что мы так долго и много говорили об этом последнем в русской истории дворянском бунте, кого-то может утомить и вообще может показаться излишним в рассказе о жизни первого великого русского композитора. Но, да простит нас любезнейший читатель, воля Ваша, а все-таки подлинная история так называемого «декабризма» еще не написана, а без знания хотя бы каких-то ее неискаженных советской идеологией подробностей, нам будет трудно представить себе ту ситуацию, которую довелось пережить нашему герою в Петербурге 14 декабря, как впрочем, в предшествующие и в последовавшие за ним осенне-зимние дни 1825 года.

Однако, нам давно уже пора вернуться к нему и посмотреть на то, что же с ним происходило в это время. Сам он сообщает об этом в *Записках* весьма кратко и не очень вразумительно. И уловить из этого достаточно ясно выраженную его позицию в отношении к происшедшему весьма затруднительно. Но он был человеком своего времени и, как один из типичных представителей русского общества, не мог не ощущать основные тенденции развития общества в ту эпоху. К нему во всей полноте можно отнести слова, сказанные когда-то одним из современников о А. С. Пушкине — «отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями» [46, с. 357]. Поэтому, так или иначе, хотя бы косвенно и, возможно, даже не осознавая этого, но все же, М. И. Глинка оказался сопричастен выявленным нами «ответам» русского дворянского общества на исторические вызовы первой четверти XIX века.

<sup>23</sup> По последнему поводу в литературе даже встречаются весьма колоритные, но парадоксальные замечания о том, что руководившие этим бунтом «были образованными, умными и добрыми людьми, но в деле организации заговоров — беспросветными дилетантами и глупцами» [35, с. 372]. См. также: [4].

<sup>24</sup> См. об этом, например: [37, с. 221–222]. Ср. с мыслью П. Я. Чаадаева о том, что в декабрьские дни 1825 года будущность России «была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина», высказанной в письме (от 2 мая 1836 года) к томлящемуся в Сибири И. Д. Якушкину [44, с. 246].

Как следует из его биографии, еще с пансионских времен М. И. Глинка был связан с процессами, предшествовавшими расцвету великой русской литературы [41], а далее, в наиболее яркие годы творчества и особенно во время создания оперы «Жизнь за Царя», он — один из активнейших участников жизни литературно-художественной элиты русского общества, дававшей столь мощную подпитку стремительно набравшему обороты литературному процессу.

Что же касается заведенного тогда либерального словоупотребления, то, будучи лишенным яркого общественного темперамента или сиюминутных политических или идеологических интересов, М. И. Глинка оказался лишь косвенным его соучастником.

Как рассказывала Л. И. Шестакова, очевидно, имея в виду то, как М. И. Глинка вел себя среди своих родственников, когда гостил в Новоспаском в 1820–40 годы, он «никогда не вмешивался ни в политические, ни в хозяйственные разговоры; обыкновенно, когда заговяют о чем-нибудь подобном, он скажет: „Это не по моей части!“ и уйдет к себе; там с роялем, книгами, которые привозил с собою, и птицами, он бывал вполне доволен» [42, с. 44].

Да и несколько позже, когда все русское общество, взбаламученное поражением в Крымской войне, смертью опостылевшего всем императора Николая I и начатыми Александром II реформами, с особой силой предалось самым безудержным политическим словопрениям, М. И. Глинка обнаружил свое откровенное нежелание принимать во всем этом участие. «Любопытную черту в жизни Глинки составляло нерасположение к новым русским, жившим за границей, политическим писателям, которые писали против России, — вспоминает о политических настроениях композитора во время его пребывания в Берлине в 1856 году В. Н. Кашперов. — Если заходила речь об них, то он раздражался до ярости, так что я не раз опасался удара. Вечером, когда это случилось, трудно было его успокоить. Чтобы избежать подобных случаев, я не допускал никаких политических разговоров и напоминал посетителям, что зонтики, калоши и политику они должны оставлять за дверями. Эта шутка удавалась, и Глинка тотчас же успокаивался. Если же он сам начинал разговор о политике, то обыкновенно с ним соглашались и не противоречили ни в чем» [43, с. 308].

То, о чем у М. И. Глинки могла идти речь, когда он, по словам В. Н. Кашперова, адресованным к ситуации 1856 года, «сам начинал разговор о политике», мы вряд ли когда-нибудь сможем восстановить. Тем более трудным представляется догадаться о тех политических разговорах, в которых он, вероятно, все-таки принимал участие в 1825 году.

При этом все же допустимо предположить некоторые оттенки таких разговоров, исходя не столько даже из общего социально-политического контекста эпохи, сколько из тех крупниц косвенных сведений, которые удается наскрести из подробностей жизни М. И. Глинки, а отчасти даже и его творчества.

В таком случае наиболее очевидным предметом могли быть вопросы, связанные с законностью царской власти. С одной стороны, вспоминая рассказ Н. А. Маркевича о том, что в пансионские годы Мишель был «общих» с ним «мнений» на предмет «двух мерзавцев Людовиков, XIV-го и XV-го»<sup>25</sup>, и вообще «не сочувствовал никаким Бурбонам», можно допустить в таких разговорах сочувствие М. И. Глинки хотя бы некоторому ограничению царской власти. Однако, следует учесть и то, что его первая великая опера «Жизнь за Царя», писавшаяся спустя всего лишь 10 лет после событий 1825 года, была посвящена не только патриотической идее и величию подвига русского крестьянина, отдавшего жизнь за благополучие своей семьи и своей Родины, но и тому, что это благополучие могло быть достигнуто только при условии обустройства государственной жизни России правлением законно избранного царя. В таком случае Мишель в тех ранних разговорах мог, с одной стороны, выступать как сторонник крайних суждений о некоторой нелегитимности современного правления Александра I, пришедшего к власти через допущение убийства своего отца<sup>26</sup>, или, говоря проще, о «незаконности» нынешнего правления, а с другой — и как защитник самого русского самодержавия, не предполагающий и мысли о том, что в России может быть законной власть без царя.

Последняя позиция, судя по всему, должна была оказаться ему ближе, так как являлась общим местом политической ментальности русского дворянского общества. Недаром А. С. Пушкин даже в самые беспокойные годы своего политического радикализма, мечтая увидеть светлое будущее России, не мог исключить из него благих деяний царя и писал: «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный / И рабство, падшее по манию царя» (Деревня. 1819). А позже, имея в виду все то же царское правительство, в черновике неотправленного письма от 19 октября 1836 года П. Я. Чаадаеву он признавался: «Надо было прибавить (не в качестве уступки цензуре, но как правду), — что правительство все еще — единственный [в] Европейец в России [и это несмотря на все то, что в нем есть давящего, грубого, циничного]» [30, с. 422].

Возможно, что в своих политических толках М. И. Глинка обращался и к другому традиционному вопросу русской социальной действительности — к крепостному праву. Ведь когда-то в детстве он довольно

<sup>25</sup> Маркевич Н. А. Воспоминания. РО ИРЛИ. Фонд 488, № 82. Л. 62.

<sup>26</sup> В Петербурге и ныне знатоки русской истории показывают любопытствующим хранящий черты внешнего декора конца XVIII века дом на углу Гороховой улицы и канала Грибоедова (когда-то Екатерининского канала), который вошел в мифологию города под названием «дома согласия». В нем, по преданию, за несколько дней до убийства Павла I глава заговорщиков фон Пален тайно встречался с цесаревичем Александром и поведал ему о предполагаемом злодеянии. В ответ на это Александр, якобы, ничего не сказав, повернулся и вышел вон, обозначив своим молчанием знак согласия...

остро переживал несправедливость жесткого обращения своей деспотичной бабки с принадлежащими ей людьми. Об этом можно прочитать в воспоминаниях Л. И. Шестаковой: «...видя или слыша, как бабушка, бывало, сердилась на прислугу или крестьян, только она начинала кричать, немедленно выбежал из комнаты, бросался к няне на шею и горько плакал» [42, с. 32].

Но и повзрослев, он сохранял теплоту непредвзятого доброго отношения к людям, стоящим в социальном отношении ниже его. По воспоминаниям своей сестры, он «всегда и везде был очень добр к прислуге» [Там же, с. 44] и был в числе противников крепостного строя. «Живя часто за границей, — пишет Л. И. Шестакова, — он возмущался крепостным правом. В каждый приезд свой устраивал он угощение крестьянам, а для дворовых людей — балы; сидел там с ними, следил за их танцами, обращался с ними как с равными: говорил, слушал их рассуждения и проч. И брат так доволен был, сделал им праздник, что после дня три был весел, играл, пел и вообще чувствовал себя хорошо» [Там же, с. 44].

Заметим, однако, что сказанное об отношении М. И. Глинки к крепостному праву маркировано Л. И. Шестаковой отнесением к тем временам, когда он «часто» жил за границей. Но мы ничего не знаем о том, как воспринимал он условия бесправия крепостных в предшествовавшие времена: смущало ли его в 1820-е годы то, что он постоянно и во всем пользовался услугами дворовых людей; да и вообще, в какой степени мог он тогда осознавать тот факт, что живет на средства, добываемые ценой довольно-таки нещадной эксплуатации крестьян — об этом мы абсолютно ничего не знаем. Поэтому и не станем придавать особого значения возможности обсуждения им крестьянского вопроса в ходе политических говорений в год декабрьского бунта.

Однако, нам представляется знаменательным тот факт, что в 1825 году он все-таки был не чужд этих разговоров, и в его *Записках* остался от них определенный след. Обратим внимание и на то, какой оттенок имеет его рассказ об этом: «В конце этого года я встречался иногда с некоторыми из прежних товарищей, один из них упрекал меня за то, что я оставил серьезные занятия, чтобы терять драгоценное время в суетных, как говорил

он, забавах. Я помню, что ответил ему в таком смысле, что успею себе и после, а теперь считаю приличным соображаться с наклонностями своими и возрастом. Этот самый товарищ был жертвою своего легкомыслия; — он был приговорен к лишению чинов, дворянства и сослан в Сибирь в 1826-м году» [6, с. 229].

Здесь можно ощутить некое смущение тем, что он все-таки участвовал в каких-то обсуждениях «серьезных занятий», и был в них осуждаем за потерю «драгоценного времени», занимаясь тем, что один из его прежних товарищей назвал «забавами». Чувствуется в его воспоминаниях явное стремление отгородиться и от этих «серьезных занятий» и от самого упрекавшего его. Нам, кстати, известно имя этого «товарища». Это был соученик Мишеля по Благородному пансиону Михаил Глебов. Но мы знаем и то, что, вопреки традиционным домыслам о причастности этого Глебова к заговору бунтовщиков, он ни в каких тайных обществах того времени никоим образом не участвовал [12, с. 244]<sup>27</sup>. Единственная его вина была в том, что он действительно пришел на Сенатскую площадь и даже был замечен «в середине каре, которое мятежники составили на площади». Но оказался он там в силу чисто бытовых условий. Живя неподалеку от этой площади в одном доме с К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым, будучи одним из представителей «петербургской словесности», то есть, человеком рылеевского литературного круга общения, он из дружеского сочувствия вышел на площадь. Как нам представляется, именно этими обстоятельствами обусловлено замечание М. И. Глинки, что М. Глебов «был жертвою своего легкомыслия».

Подобная же участь постигла и В. К. Кюхельбекера, который, не принимая участия в заговоре, как бы «за компанию» оказался на площади рядом с К. Ф. Рылеевым, братьями Бестужевыми и другими<sup>28</sup>. Об этом иносказательно-образно говорит А. С. Пушкин в письме к А. А. Дельвигу от 20 февраля 1826 года: «радуюсь, что тевтон Кюхля не был Славянин — а охмелел в чужом пиру» [28, с. 6]<sup>29</sup>.

Само же сообщение глинкинских *Записок* о событиях 14 декабря выделяется особыми оттенками отчуждения. Холодная лаконичность этого текста вынуждает нас

<sup>27</sup> См. там же о М. Глебове: «Знал о существовании и цели Северного общества — введение конституции, но членом оного быть не захотел. О намерении действовать 14 декабря знал и в самом возмущении лично участвовал, имея в руках шпагу. На площади он дал сто рублей для покупки солдатам вина, в каре оставался до тех пор, пока не выстроилась конная гвардия. После сего, оставя бунтовщиков, возвратился домой» [12, с. 244].

<sup>28</sup> «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ...» сообщает о В. К. Кюхельбекере: «Принят в Северное общество в последних числах ноября 1825 годка. На совещаниях нигде не был; а 14 декабря, узнав о замышляемом возмущении, принял в оном живейшее участие; ходил в Московский полк и Гвардейский экипаж. 14-го декабря был в числе мятежников с пистолетом, целился в великого князя Михаила Павловича и генерала Воинова (уверяет, что, имея замоченный пистолет, он целился с намерением отклонить других с лучшим оружием)» [12, с. 272–273].

<sup>29</sup> См. там же в Примечаниях Б. Л. Модзалевского: «„Радуюсь, что Тевтон Кюхля не был Славянин“, — каламбур: Кюхельбекер был родом немец, и Пушкин радуется, что он, по сообщению ему Дельвига, не состоял в числе членов Тайного Общества Соединенных Славян. „Наш сумасшедший Кюхля попался, как ты знаешь по газетам, в Варшаве. Слухи в Петербурге переменялись об нем так, как должно было ожидать всем знающим его коротко. Говорят, что он совсем не был в числе этих негодных Славян, а просто был воспламенен, как длинная ракета. Зная его доброе сердце и притом любовь хвастать разными положениями, в которые жизнь бросала его, я почти был в этом всегда уверен. Да он бы, верно, кому-нибудь из товарищей не удержался, сказал всю свою тайну. Дай Бог, чтобы эта была правда. Говорят, великий князь Михаил Павлович с ним более всех ласков. Как от сумасшедшего, от него можно всего ожидать, как от злодея — ничего“» [28, с. 141].

допускать, что даже через тридцать лет после случившегося М. И. Глинка намеренно устранял хотя бы какие-то подозрения в своей причастности к этим событиям, кроме того, что невольно оказался непосредственным свидетелем некоторых из них.

«Декабря 14 рано утром зашел к нам старший сын Линдквиста (бывшего у нас инспектором в пансионе); мы пошли на площадь и видели, как государь вышел из дворца. До сих пор у меня ясно сохранился в душе величественный и уважение внушающий вид нашего императора. Я до тех пор никогда не видал его. Он был бледен и несколько грустен; сложив спокойно руки на груди, пошел он тихим шагом прямо (NB) в середину толпы и обратился к ней с словами: „Дети, дети, разоидитесь!“ Мы пробы[ли] на площади несколько часов; потом я, вынужден[ный] голодом (ибо не завтракал), отправился к Бахтуриным. Может быть, это, по-видимому, неважное обстоятельство спасло меня от смерти или увечья: вскоре раздались пушечные выстрелы, направленные против мятежников» [6, с. 229].

Мы тоже несколько не сомневаемся в том, что Мишель никоим образом не был связан с тем, что происходило в тот день на Сенатской площади. Да и вообще-то, он, по всей видимости, вовсе не бывал в тот день на этой площади<sup>30</sup>.

К сожалению, мы не имеем сведений о том, как он провел время в период, начиная с пришедшего 27 ноября известия о смерти Александра I и вплоть до 14 декабря. Известно только, что с 1 декабря он находился в отпуске и должен был ехать в Новоспасское на свадебные торжества своей любимой сестры. Однако, будучи все-таки государственным чиновником, он, скорее всего, ввиду особых обстоятельств образовавшегося междуцарствия не мог покинуть Петербург, не дождавшись прихода к власти законного царя. А поскольку на протяжении первых двух недель декабря вопрос престолонаследия не был окончательно разрешен, и Николай стал законным властителем России только 14 декабря, то и Мишель никак не мог начать собираться в дорогу ранее этого дня<sup>31</sup>.

Мы не знаем, появлялся ли он, будучи в отпуске, на службе в эти дни тревожного безвластия, отсиживался ли дома, или приятно проводил время в гостях; насколько ему было известно о назначенной на 14 декабря присяге новому императору<sup>32</sup>. Однако, судя по той краткой информации, которую можно почерпнуть из его *Записок*, в день присяги — в понедельник 14 декабря 1825 года идти на службу он не собирался.

Восстанавливая далее, как он провел этот день, мы можем представить, что спозаранку 14 декабря

1825 года в квартире Глинки и Корсака в доме на Загородном проспекте появился давний приятель Мишеля — младший Линдквист, и «мы» — Линдквист, Мишель и Корсак «пошли на площадь». Но вот здесь нас настигают вполне резонные вопросы: какое время означала реплика в *Записках* «рано утром», на какую площадь, зачем они туда пошли, и когда покинул ее Мишель?

Если исходить из известной нам городской хроники событий 14 декабря 1825 года, то прогулка на Сенатскую площадь — ее официально тогда называли Петровской, ничего не подозревавших о грядущем бунте добропорядочных верноподданных мелких чиновников, коими как раз и были все три члена честной компании, была бы просто бессмысленной. Эта площадь, хотя и находилась неподалеку от места действия планировавшегося главного грядущего события этого дня — всенародного чествования нового правителя на Дворцовой площади, но была отгорожена от нее территорией строящегося Исаакиевского Собора, окруженного громадными складами строительных материалов. Естественно, что утром 14 декабря Сенатская площадь была пустынной. Лишь после 11 часов утра ее заносимое поземкой пространство постепенно начнет заполняться войсками бунтовщиков.

Поэтому более правдоподобно, что с самого начала Линдквист, Мишель и Корсак отправилась вовсе не на Сенатскую, а на Дворцовую площадь. Туда уже собирались толпы народа в надежде увидеть нового императора. Таким образом, снова, как и 25 лет назад на похоронах А. В. Суворова, русское дворянско-гражданское общество без всякого принуждения изъявило свою позицию [13].

Действительно, в 11 часов Николай, только что узнавший о начавшихся в некоторых войсковых частях волнениях, ненадолго вышел из Зимнего дворца и обратился со словами увещевания к запрудившему перед ним площадь народу. Как вспоминал об этом А. П. Башуцкий, Николай, стоя среди окружавшей его толпы, «целою головою возвышался над 20-30-тысячами голов». Едва его речь затихала, «возгласы живой преданности потрясали воздух и, несясь с площади в смежные улицы, привлекали оттуда новые толпы» [47, с. 119].

М. И. Глинка как раз и свидетельствует в *Записках*, что слышал эту речь Николая и хорошо рассмотрел его. Отметим также, что Николай в течение двух часов до начала конных атак на бунтовщиков еще несколько раз выходил на Дворцовую площадь к народу и подошедшим правительственным войскам. Следовательно, Мишель мог его видеть и позже 11 часов.

И все же нам ясно, что в первый раз он увидел Николая именно во время выхода императора в 11 часов,

<sup>30</sup> Об этом, невзирая на традиционную советскую привязку М. И. Глинки к декабризму и на бездоказательное утверждение его обязательного присутствия на Сенатской площади, давно обращали внимание трезво мыслящие исследователи. См., например, сноску б1 в комментариях А. С. Ляпуновой к публикации *Записок* Глинки [6, с. 372]; или статью Н. В. Рамазановой [31].

<sup>31</sup> Не известно нам и о том, как, где и когда М. И. Глинка присягал Николаю, но то, что он должен был это делать, не подлежит сомнению.

<sup>32</sup> Как можно увидеть из новейшей литературы, ничего определенного о том, что было известно в городе о присяге 14 декабря, до нас не дошло. Считается, что население о ней не было оповещено. Только высшие сановники империи знали о назначенной на утро 14 декабря присяге Николаю [23, с. 193]. Однако, по-видимому, и этого оказалось достаточно, чтобы в ночь с 13 на 14 декабря весть о ней стала всеобщим достоянием.

так как, будучи «рано» всположенным Линдквистом и не успев позавтракать, очень скоро был уже на площади.

Однако, что значат слова М. И. Глинки о том, что Линдквист пришел в квартиру на Загородном «рано утром»? Известно, например, что присяга сенаторов в тот день была назначена действительно «рано». Это было в 7 часов утра. Военские части начали присягать в казармах с 9 часов утра, и, стало быть, должны были подняться часа на два раньше того. Будущий император Николай «встал рано» и, «одевшись, принял генерала Воинова, потом вышел в залу [...], где собраны были все генералы и полковые командиры гвардии [...]. Прочитал им духовную покойного императора Александра и акт отречения Константина Павловича. Засим [...] приказал ехать по своим командам и привести к присяге [...]» [17, с. 326]. Следовательно, все это должно было произойти намного раньше начала присяги в войсках, то есть до 9 часов утра.

Ну а Мишель с друзьями?

Естественно полагать, что выход на Дворцовую площадь для приветствия нового императора был целесообразен только в светлое время суток. Солнце же в тот день начинало всходить только в 10 часов 01 минуту, и световой день устанавливался, примерно, к 11 часам. Исходя из этого, становится понятно, что именно это время было наиболее удобно Николаю I для первого выхода к народу из Зимнего дворца. Как раз к этому событию народ стекался на площадь перед Зимним дворцом. И наши друзья, повинувшись общему движению, также спешили туда.

То, что Мишель и Корсак не успели позавтракать, подсказывает, что с момента их подъема пришедшим Линдквистом и до появления у Зимнего дворца должно было пройти довольно краткое время, достаточное лишь для того, чтобы свершить полагающиеся туалетные процедуры и пешком преодолеть около двух верст самого краткого пути. Шли они в таком случае на Дворцовую площадь по небольшому отрезку Загородного проспекта, а далее по всей Гороховой улице и по Адмиралтейской площади. В целом все это вместе должно было занять у них примерно от сорока пяти минут до одного часа. Таким образом, становится ясно, что Линдквист поднял их с постели около 10 часов утра. А поскольку все это происходило в один из самых коротких дней в году — по нынешнему календарю это 26 декабря<sup>33</sup>, то пробуждение в предрассветное время, действительно могло нашими друзьями расцениваться как «рано утром».

Что касается срока ухода с площади, то установить его помогает сообщение М. И. Глинки о том, что, пробыв «на площади несколько часов» и проголодавшись, он отправился перекусить к Бахтуриным и по пути к ним услышал пушечные выстрелы. Однако и эта помощь в определенном смысле может оказываться весьма ненадежной, так как, во-первых, выражение «несколько часов» не дает точности. Это могут быть и два, и три, и че-

тыре часа. А во-вторых, услышанные Мишелем в отдалении «пушечные выстрелы», могли оказаться ружейными залпами солдат Московского полка, который около часу дня стал отбивать атаки Конной гвардии. И дело здесь не только в том, что мы не знаем, слышал ли Мишель когда-нибудь до этого времени пушечную пальбу в сравнении с ружейными залпами, или, предположив, что к моменту стрельбы, оказавшись уже довольно далеко от места трагических событий, допускаем, что он не мог уже различить тип оружия, приведенного в действие. Более существенным в таком случае мог быть сам факт стрельбы и того напряженного нервного состояния, в котором должен был пребывать наш герой, уходя с площади.

И все же, если Мишель действительно слышал звуки пушек, то это значит, что, он провел на Дворцовой площади более четырех часов и, не успев позавтракать, действительно очень сильно проголодался, ибо артиллерийский огонь по восставшим был начат уже в сумерки, примерно в полпятого того трагического дня.

Столь же неопределенной представляется и ремарка М. И. Глинки в *Записках*, о том, что уход к Бахтуриным спас его «от смерти или увечья». Не отрицая правдоподобности этой ремарки, мы здесь все же ощущаем некоторую сомнительность такого поворота событий.

Известно, что основная батарея из трех пушек стреляла по бунтовщикам со стороны той части Адмиралтейского бульвара, которая отделяла здание Адмиралтейства от Петровской площади. Еще одна пушка была со стороны Конногвардейского бульвара. Общий артиллерийский огонь картечью был направлен в ряды войск, стоявших вокруг памятника Петру — «Медного всадника», и быстро, за какие-то 15–20 минут, выгнал их с площади на невский лед. А там выстрелами ядер, взломавших лед, пушки остановили их на пути к Петропавловской крепости и вынудили сдаться. При этом наибольшие потери понес народ, громоздившийся вокруг бунтовщиков на заборах строительной площадки Исаакиевского собора, на барочных украшениях стен старого двухэтажного, ныне уже несуществующего, здания Сената и на крышах соседних с ним старинных построек по Галерной улице. Общий итог пушечного огня был катастрофическим — 1271 человек убитыми. В это число входило: 301 человек антиправительственных войск, 19 человек «малолетних», 39 человек «во фраках и шинелях», 9 человек «женска полу» и 903 человека «черни» [19, с. 115].

Учитывая же, что большинство из пострадавшего гражданского населения составляла «чернь», которая располагалась в основном со стороны стоявших перед пушками бунтовщиков, следует полагать, что «приличная публика», в числе которой, естественно, находились и трое наших друзей, должна была оказаться по другую сторону от пушек, то есть, на Дворцовой или на Адмиралтейской площади. Поэтому чинопослушная публика, будучи отгорожена от развертываемых событий

<sup>33</sup> Продолжительность дня 26 декабря равна 5 часам 57 минутам.

на Сенатской площади рядами правительственных войск, вообще не испытывала угрозы быть пораженной картечью царских орудий, и опасения М. И. Глинки были бы напрасными.

Если же Мишель, уходя с площади, услышал залпы ружей «москвичей», то это означает, что он проголодался довольно скоро и, проведя на площади около двух часов, отправился к Бахтуриным чуть ранее часу дня. Однако, и в таком случае, его опасения быть убитым или получить увечья были напрасны. Огонь, которым солдаты Московского полка ответили на атаку Конной гвардии, велся поверх голов и был направлен на Адмиралтейство. Солдаты не хотели и не могли стрелять по своим, и по-настоящему отбивались лишь штыками. Поэтому со стороны правительственных войск, за исключением смертельного ранения генерал-губернатора Петербурга М. А. Милорадовича, других потерь вообще не было. Нет сведений и о пострадавших гражданских чинах, бывших на площадях позади правительственных войск.

Впрочем, не нам судить о том, насколько точно М. И. Глинка воспроизводит в *Записках* свое участие в событиях 14 декабря 1825 года. И, если спустя почти тридцать лет, в его сознании могли произойти какие-то aberrации, и он в 1854 году представлял себе эти события уже не совсем так, как они случились в реальности, а в соответствии со сложившимся вокруг них общепринятым каноническим версиям, то в этом нет ничего удивительного: человеческая память неблагонадежна и подвержена искушению более следовать мифам, нежели полноценно хранить происшедшее в действительности.

Да и упоминание о том, что, не позавтракав, он проголодался и только поэтому покинул место трагических событий, выглядит как некая условная сюжетная фигура, подобная той, к которой прибегнул А. С. Пушкин, объяснявший причину своего отсутствия 14 декабря в рядах заговорщиков тем, что, когда он выехал к ним в Петербург из Михайловского, то «заяц дорогу перебежал»...

Для М. И. Глинки же возможность «замещения» или устранения подробностей каких-то реальных событий из его памяти была особенно возможна, если не сказать, характерна. Она очень органично входила в контекст его склонности не держать в своем сознании того, что было ему неприятно или могло вызывать сильные отрицательные эмоции. Об этом может свидетельствовать, например, отсутствие в его воспоминаниях известий о событиях 1812 года. По-видимому, детская память Мишеля спасительно для его тонкой и легко ранимой нервной организации не сохранила ни реальных фактов успешного бегства из родного Новоспасского в Орел, ни неприятных впечатлений от следов французского разорения после возвращения домой и никакой другой информации о том, как пережили все беды вражеского нашествия его родственники, не покидавшие своих имений.

Рассматривая же эту ситуацию иначе, можно допустить, что в момент создания *Записок* он посчитал

ненужным извлекать из своей памяти то, что ему было неприятно вспоминать. Таким же образом он избежал в *Записках*, например, темы телесных наказаний, столь характерных для пансионского быта. Возможно, что по этой же причине ни словом не обмолвился и об ужасах наводнения в 1824 году, не зная о которых он просто никак не мог. Обошел молчанием он и многие другие трагические события, свидетелем или современником которых он был. В частности это касается дуэли и смерти Пушкина. Ни в *Записках*, ни в письмах М. И. Глинки мы не найдем о ней ни одного слова.

Так что в его рассказе о событиях 14 декабря 1825 года нам следует видеть не столько точное воспроизведение случившегося, и отнюдь не свидетельские показания о происшедшем, а, скорее, некий экстракт сложившихся к пятидесятым годам XIX века мифологем. Таким образом, М. И. Глинке, по-видимому, было удобнее скрыть то подлинное потрясение, которое он, несомненно, пережил в недолгий морозный зимний день. Может быть, именно по этой причине в его рассказе поражает удивительная краткость и бесстрастность повествования, особенно заметная на фоне того, сколь подробно и, не сказать бы, великосветски кокетливо М. И. Глинка пишет о том, что произошло с ним через несколько дней.

Вот полный текст последующего фрагмента *Записок*: «Несколько дней спустя в полночь послышался шум у ворот; растворилась дверь квартиры, и полковник Варенцев, дежурный штаб-офицер нашего ведомства, повелительным голосом приказал мне явиться немедленно к его высочеству<sup>34</sup>. Вообразите меня, едва проснувшегося, вовсе не знавшего, в чем дело, — прибавьте, что между мятежниками были очень знакомые мне люди, одним словом, я почувствовал (хотя на короткое время) то чувство, которое мы называем страхом. Сердце замерло, а душа, как говорится, ушла в пятки. Оправившись в минуту, я оделся и во время переезда к главному управляющему путями сообщения герцогу Вюртембергскому, брату вдовствующей императрицы Марии Федоровны, я попросил полковника сказать мне, в чем меня обвиняют? Одно слово достаточно было, чтобы успокоить меня. Вот в чем было дело.

У Кюхельбекера, участвовавшего в мятеже, было два племянника (сына его сестры Устины Карловны) — Дмитрий и Борис Григорьевичи. Он убежал, его искали и подозревали, что он укрывался в столице у одного из племянников. Мне легко было в двух словах отклонить от меня подозрение, тем более что Дмитрий и Борис были дети Григория Андреевича Глинки, бывшего кавалером при государе Николае Павловиче, когда он еще был великим князем, воспитывались на казенный счет и отличались особенным благонаравием.

Все это я спокойно и на довольно опрятном французском языке (в коем я усовершенствовал[ся] с помощью бывшего гувернера детей княгини Хованской) объяснил герцогу; он ласково выслушал и отпустил меня.

<sup>34</sup> Имеется в виду главноуправляющий путями сообщения и председатель Совета путей сообщения герцог А. Ф. Вюртембергский.

В конце декабря мы с Корсаком отправились в деревню, я — по случаю помолвки старшей сестры моей Пелагеи Ивановны с нашим соседом Яковом Михайловичем Соболевс [ким], милым и образованным человеком» [6, с. 30].

К этому нам нечего добавить, кроме того, что данным сообщением окончательно снимаются какие-либо домыслы о связи Мишеля с действиями заговорщиков. К тому же М. И. Глинка дает читателю *Записок* понять, что далее в его жизни все пошло по тому плану, который был намечен гораздо раньше и, будучи лишь осложненным тем, что случилось 14 декабря, все-таки претворялся в жизнь.

Находясь с 1-го декабря в отпуске и пребывая в «чемоданном» настроении, он, по всей видимости, уже

давно дожидался разрешения затянувшегося междуцарствия. Скорее всего, он, подобно всем чиновникам, дважды присягал: сначала Константину, а затем Николаю<sup>35</sup>. Но нам об этом ничего доподлинно не известно. Поэтому, ничего не домысливая, мы можем только констатировать, что с того момента, когда Николай наконец-то воцарился в Зимнем дворце, а подозрения относительно причастности к антиправительственным делам «титularного советника Михаила Иванова сына Глинки, сына Капитана»<sup>36</sup> были благополучно рассеяны, он мог совершенно беспрепятственно ехать в родительский дом для участия в официальном обручении и в последующей затем свадьбе своей любимой сестры.

#### Литература:

1. Анисимов Е. В. Россия без Петра: 1725–1740. СПб.: Лениздат, 1994. 496 с.
2. Аттестат Глинки // Сов. музыка. 1954. № 6. С. 86–87.
3. Бартенев П. Биографические воспоминания об А. С. Хомякове (Читано в заседании Общества Л. Р. С., ноября 6, 1860 года) // Русская беседа. Т. 20, № 2. М., 1860. С. 29–38.
4. Бокова В. М. «Больной скорее жив, чем мертв»: Заметки об отечественном декабристоведеении 1990-х годов // 14 декабря 1825 года: Источники, исследования, историография, библиография: В 4-х вып. / Отв. ред. П. В. Ильин. СПб.–Кишинев: Нестор, 2000. Вып. 4. С. 497–561.
5. Виролайнен М. Н. Автор текста истории: Сюжетообразование в летописи // Автор и текст. Петербургский сборник / Под. ред. В. М. Марковича и Вольфа Шмидта. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. Вып. 2. С. 33–53.
6. Глинка М. И. Записки // Глинка М. И. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка / [Ред. комис.: Т. Н. Ливанова и др.; Подгот. А. С. Ляпунова]. М.: Музыка, 1973. Т. I. С. 211–350.
7. Глумов А. Музыкальный мир Пушкина. М.; Л.: Музгиз, 1950. 279 с.
8. Глумов А. Революционные песни декабристов // Сов. музыка. 1950. № 11. С. 63–66.
9. Гордин Я. А. Меж рабством и свободой, 19 янв. – 25 февр. 1730 г. [Текст]. СПб.: Лениздат, 1994. 378 с. (Историческая библиотека «Хроника трех столетий»; Санкт-Петербург).
10. Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л.: Academia, 1930. 896 с.
11. Гумилев Л. Н. От Руси до России. [Очерки этнической истории] / [Вступ. ст. А. М. Панченко]. СПб.: Юна, 1992. 268 с.: ил.
12. Декабристы: Биографический справочник / Изд. подгот. С. В. Мироненко; Под. ред. М. В. Нечкиной. М.: Наука, 1988. 447 с.
13. Деменков П. С. Четырнадцатое декабря 1825 года на петербургских площадях: Дворцовой, Адмиралтейской и Петровской // Русский архив. 1877. Кн. 3. № 10. С. 256–267.
14. Долгоруков П. И. 35-й год моей жизни, или два дни вёдра на 363 ненастья. Кишинев 1822 года // Пушкин в воспоминаниях современников. 3-е изд., доп. СПб.: Академический проект, 1998. Т. I. С. 344–355.
15. Достоевский Ф. М. Бесы: Роман в трех частях / Вступ. стат. и комментарии В. Н. Захарова. Петрозаводск, Карелия, 1990. 687 с.
16. Егоров Б. Ф. Российские утопии: Исторический путеводитель. СПб.: Искусство-СПб, 2007. 416 с.
17. «Записки» Николая I // 14 декабря 1825 года и его истолкователи: [Текст] (Герцен и Огарев против барона Корфа) / Рос. АН, Ин-т рос. истории; Изд. подгот. Е. Л. Рудницкой, А. Г. Тартаковским. М.: Наука, 1994. 455 с.
18. Каменский А. Б. «Под сенью Екатерины...»: Вторая половина XVIII века. СПб.: Лениздат, 1992. 448 с.
19. Канн П. Я. О числе жертв 14 декабря 1825 г. // История СССР. 1970. № 6. С. 114–115.
20. Ключевский В. О. Очерки и речи // Второй сборник статей. Пг.: Лит.-изд. отд. Ком. нар. Прос., 1918. 496 с.
21. Кошелев А. И. Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883 годы). Berlin: V. Behr's Verlag (E. Beck), 1884. 232 с.
22. Кошелев В. А. Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, рассуждениях и разысканиях. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 505 с.
23. Николай I: личность и эпоха. Новые материалы. СПб.: Нестор-История, 2007. 530 с.
24. Павленко Н. И. Страсти у трона. История дворцовых переворотов. М.: Знание, 1996. 319 с.

<sup>35</sup> Ср. с известиями об этих присягах в воспоминаниях одного из современников М. И. Глинки, жившего, однако, в Москве: «В первых числах декабря, по указу сената, присягнули в Москве Императору Константину Павловичу, и целых десять дней все просьбы подавались на его имя и указы писались от его имени. Эта присяга была принесена совершенно просто — без всяких особых обстоятельств. Не такова была присяга Императору Николаю Павловичу. Тут сочли нужным принять разные чрезвычайные меры. В соборе присягали одни сенаторы и высшие сановники; а прочие чиновники присягали особо по каждому ведомству» [21, с. 14].

<sup>36</sup> Именно так поименован М. И. Глинка в канцелярском «Аттестате», определявшем его служебное положение на конец 1825 года [2, с. 86].

25. *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. 421 с.
26. *Панченко А. М.* Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. 203 с.
27. *Платонов С. Ф.* Сочинения в 2-х томах / СПб.: Стройлеспечать, 1993. Т. 1. 736 с.
28. *Пушкин А. С.* Письма, 1826–1830 / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. Т. 2. 578 с. (Труды Пушкин. Дома АН СССР).
29. *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений в 10 томах. 4-е изд-е. Л.: Наука, 1979.
30. *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений, 1837–1937: В 16 т. / Ред. комитет: М. Горький, Д. Д. Благой, С. М. Бонди, В. Д. Бонч-Бруевич, Г. О. Винокур, А. М. Деборин, П. И. Лебедев-Полянский, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский, Д. П. Якубович. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 16: Переписка, 1835–1837 / Ред.: Л. Л. Домгер, Н. В. Измайлов, Л. Б. Модзалевский; Общ. ред. Д. Д. Благой. 503 с.
31. *Рамазанова Н. В.* Записки М. И. Глинки: к вопросу о необходимости факсимильного издания // Эпоха Глинки: Музыка. Поэзия. Театр / Материалы Всероссийской научно-практической конференции 30 мая – 1 июня 2008 года. Смоленск: Смоленская городская типография, 2008. С. 10–13 (Новоспасский сборник; Вып. 5).
32. *Рылеев К. Ф.* Полное собрание стихотворений / Ред., предисл. и прим. Ю. Г. Оксмана. Вступ. статья В. Гофмана. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. 575 с.
33. Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван Прач / Под. ред. и со вступ. статьей В. М. Беляева. М.: Музгиз, 1955. 35 с.: нот.
34. *Тойнби А. Дж.* Постижение истории: Пер. с англ. / Сост. А. П. Огурцов.; Вступ. ст. В. И. Уколовой; Закл. ст. Е. Б. Рашковского. М.: Прогресс, 1996. 608 с.
35. *Томсинов В. А.* Сперанский. М.: Молодая гвардия, 2006. 451 с.: ил.
36. *Фомичев С. А.* Вечный спутник: ... Душой и мыслью с Пушкиным // Искусство Ленинграда. 1991, февраль. С. 46–52.
37. *Фомичев С. А.* Грибоедов: Энциклопедия. СПб.: Нестор-История, 2007. 396 с.
38. *Фомичев С. А.* Поэзия Пушкина: Творческая эволюция / Отв. ред. акад. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1986. 304 с.
39. *Фролов С. В.* Контекстные взаимодействия русской литературы и музыки // Современные аспекты художественного синтеза в музыкальном искусстве: Сб. ст. Ростов-на-Дону: Ростовская гос. Консерватория, 2009. С. 11–16.
40. *Фролов С. В.* Культурные мифологемы оперы М. И. Глинки «Жизнь за Царя» // М. И. Глинка. К 200-летию со дня рождения: Материалы международных науч. конф.: в 2-х тт. / Московская гос. консерватория, Санкт-Петербургская гос. консерватория; Отв. ред. Н. И. Дегтярева, Е. Г. Сорокина. М.: Изд-во МГК, 2006. Т. II. С. 42–53.
41. *Фролов С. В.* О литературном воспитании М. И. Глинки в Петербургском благородном пансионе // Музыкально-просветительская работа в прошлом и современности (к 90-летию учреждения Г. Л. Большевцевым «Народной консерватории» в Курском крае): Материалы международной научно-практической конференции / Гл. ред. М. Л. Космовская; Отв. ред. С. Е. Горлинская, Л. А. Ходыревская. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2010. С. 151–164.
42. *Шестакова Л. И.* Былое М. И. Глинки и его родителей // Глинка в воспоминаниях современников / Под общ. ред. А. А. Орловой. М.: Музгиз, 1955. 432 с.
43. *Шестакова Л. И.* Последние годы жизни и кончина Михаила Ивановича Глинки // Глинка в воспоминаниях современников / Под общ. ред. А. А. Орловой. М.: Музгиз, 1955. 432 с.
44. *Чаадаев П. Я.* Статьи и письма. 2-е изд., доп. / Сост., вступ. статья и коммент. Б. Н. Тарасова. М.: Современник, 1989. 623 с.
45. *Эйдельман Н. Я.* Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX столетия. М.: Мысль, 1982. 368 с.: ил.
46. *Якушкин И. Д.* Из «Записок» // Пушкин в воспоминаниях современников. 3-е изд., доп. СПб.: Академический проект, 1998. Т. 1–2. Т. 1. 1998. С. 356–358.
47. 14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев / Сост., отв. ред. П. В. Ильин. СПб.: Академический проект, 1999. 751 с.: ил.